

Александр Сергеев



ИКОНА

Переехав на новую квартиру, Максим Дмитриевич ходил мимо церкви почти ежедневно. В первые два года – на работу и с работы, потом, как ушел на пенсию, мимо нее – в центр, на базар, в кино, и ни разу не возникло мысли войти в нее. Не то чтобы он был каким-то убежденным противником религии, воинствующим атеистом, такого не было. Когда-то, в детстве, он ходил с матерью в кладбищенскую церковь регулярно (жили рядом). Знал молитвы наизусть, лучше матери. Бегал с ребятами на кладбище, подкармливались там вкусной кутьей – сладкой рисовой кашей с изюмом, которую после похорон или в родительский и другие поминальные дни у могил щедро раздавали родственники усопших. Одно время священник использовал его вроде служки.

Все это было, только давно и забылось, отошло в небытие. И вдруг ни с того ни с сего решил зайти в храм божий.

Шел из аптеки: вот уже несколько дней прихватывало сердце. Купил валидола, каких-то капель, которые прописал врач. Поравнялся с полуоткрытой калиткой в церковной ограде и шагнул в нее.

В чисто выметенном церковном дворе людей не было. На высокой паперти сидели две старушки-нищенки. Они ощупывали его внимательным взглядом, ждали, когда он поднимется по ступенькам. Максим Дмитриевич нашарил в карманах мелочь, разделил старушкам. Те закрестились, благодарили его. Приоткрыл тяжелую дверь, шагнул через порог и сразу уловил знакомый с детства церковный дух: густой сладковатый запах ладана, мерцавших в полутьме свечей и еще чего-то, чем всегда пахнет в церкви.

Народу в церкви было мало. Молились несколько женщин, пять-шесть стариков, два парня. В стороне, в правом приделе, у стены молодая пара – высокая большеглазая женщина и представительный молодой же мужчина. Они не крестились, не кланялись, стояли, горестно уронив головы. Женщина утирала платочком глаза. Пришли сюда с горем. Солнцеву все это было знакомо. Почему-то, так уж оно ведется в жизни: к богу люди верующие, а бывает, и вовсе безразличные к нему прибегают больше в беде, в горе. Может, потому, что, кроме бога, в их горе им уже никто ничем помочь не может? Или чтобы хоть разделить его, горе свое, с богом. С радостью, со счастьем к богу не идут, в счастье и в благополучии человек



эгоист, тут ему никто не нужен, про всех забывает, с нуждой, с просьбами – к богу, в церковь. «Ах, лукав, грешен человек», – припомнились сетования священника, отца Валериана из той самой, которая в детстве, кладбищенской церкви.

Служба была обычная, будничная, короткая. С амвона читали шестопсалмие. Моложавый, с вьющейся темно-рыжей бородкой священник глубоким баритоном возглашал: «Благословен бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков...» Женский хор подхватывал: «Аминь». И голос дьякона: «Миром господу помолимся».

Все это: шестопсалмие, торжественные выходы священника в золотом облачении, с дымящимся кадиллом, звенящий женскими голосами хор – было знакомо, близко, все тут же восстанавливалось в памяти вместе с согбенными в молитве фигурами матери, соседей по дому. Знакомы, будто был он здесь не дальше как вчера, и эти, сияющие позолотой резные, витые «царские врата», весь золоченый, с богатой росписью икон, амвон, клирос, алтарь, богатые, тоже в позолоте, киоты, иконы, и свечи, свечи, их мерцающие огоньки, тысячекратно преломляясь в позолоте, наполняли церковь живой, сверкающей теплотой.

Захваченный тихим этим благолепием, Солнцев, наверное, по вьвшейся с детства привычке – так учила мать – закрестился, в горле першило, на глаза вернулись слезы.

Он опомнился, смущенно оглянулся, поежился: показалось, что он здесь чужой, лишний, что все на него смотрят, чего-то ждут, может, выходки какой нелепой.

Он потоптался на месте, пошел к кассе. Купил свечку, подумал, купил вторую.

Какое-то время стоял раздумывая, грел в руке свечки, не зная, какому святому поставить. «Конечно же, нашему заступнику, Николаю Угоднику», – вспомнил он наставления матери и пошел в левый придел.

Здесь иконы Николая Угодника не было. В киоте в скромном, тусклом окладе, прямо над ним, возвышалась икона Божьей матери с маленьким Иисусом Христом на руках. Написанная рядовым иконописцем, освещенная тускловатым светом мерцавшей лампы, Богородица в упор смотрела на Солнцева большими светло-серыми глазами. Он почему-то сразу уловил в них некую намекающую значимость, словно Богородица узнавала его. И он ее узнавал. Он уже видел эту икону, отлично помнил это чуть вытянутое, золотисто-смугловатое, окруженное сияющим нимбом лицо. В сознании запечатлелись, отпечатались каждая черточка, штрих не только лица, но и каждая трещинка, пятнышко каждое, отлупившаяся чешуйка краски. Он видел эту икону, стоял перед ней, сидел, лежал, валялся раненый, оглушенный. И она, Мать божия, все так же, полным значения мановением вздетой руки, осеняла его своим благословением.

И сразу исчез, растворился в памяти и этот храм, мерцание свечей. Перед глазами чуть присыпанное осенним снежком, изрытое окопами, вздыбленное взрывами, воронками ячменное поле.

...Тогда они уже гнали фашистов, гнали, наступая день и ночь, неделями не выходя из боя, не давая им закрепиться, иной раз сами из последних сил.

В тот день их батальон двумя яростными атаками выбил немцев из окопов, занял их линию обороны. Фашисты отошли в лесок. А потом начались контратаки. Когда отбили третью, после которой искореженная снарядами, минами жиденькая березовая роща, точнее, оставшиеся от нее расщепленные обрубки,

была завалена трупами фашистов, в его, лейтенанта Солнцева, роте автоматчиков осталось не больше взвода и ни одного взводного, ни одного сержанта. Только старшина Степан Борцов, и все.

Вообще, если судить по выполненным за последние дни боевым задачам, по нанесенному противнику урону, потери были незначительными и вполне оправданными. Но это если вообще, по боевому уставу. Однако роты, да что роты, всего первого батальона, даже всего их полка, считай, не стало, весь израсходовался. Учитывая это, комдив приказал вывести полк из боя, заменить прибывшими на пополнение маршевыми ротами, полк отправить в тыл, «в ближайший тыл» – подчеркивалось в приказе. «Чтобы под рукой был, – пояснил адъютант батальона, передававший по телефону приказ. – Далеко от нас не отходить. Штаб батальона с остатками второй, третьей и четвертой рот располагаются за лесом, на хуторах, вдоль речки. Вам туда идти не стоит – все забито. У тебя, лейтенанта, за спиной, за лесом же село какое-то. Ночь можешь перекантоваться. Завтра решим, как и что. Телефонисты у тебя есть, связь держи с полком. Мы свою свернули».

Трое или четверо суток гремевшие здесь, в этом самом, к которому отошла рота, селе, затяжные бои будто железными катками, бульдозерами разворотили, размололи строения, взбугрили огороды, выгоны, выжгли все, что поддается огню, что может гореть или хотя бы тлеть, дымиться. На двух бывших улочках уцелело лишь четыре дома. Два были уже заняты, в них разместились полувзвод саперов и штаб чьей-то, установленной тут же, передвижной радиостанции. Два оставшихся и большой, чудом уцелевший, крытый соломой сарай достались первой роте. Ротный Солцев с писарем, двумя телефонистами, двумя автоматчиками, посыльным Петькой, круглолицым, курносым, веселым пареньком, обосновался в просторном кирпичном доме у самой дороги, за мостком через рассекавший деревню по центру ровик.

– КП что надо, – поднял большой палец старшина Борцов. – На господствующей высоте и за оврагом. Вся деревня как на ладони. Дом новенький, почти все окна целы.

Дом был действительно что надо, настоящая крепость. После почти двухмесячного бивачного – то в окопах, блиндажах, то так, под деревом, а то и вообще без прикрытия – нынешнее жилье автоматчикам казалось просто роскошным, пределом солдатских вожделений. Половину единственной – кроме маленькой кухоньки – и потому довольно просторной комнаты занимала не менее внушительная русская печь. Вдоль стен тянулись тесовые лавки, перед ними грузный, на толстых квадратных ножках, дубовый стол. А над ним, в переднем правом углу, топорно, но старательно вырезанный из доски, крашенный, с аляпистыми золотыми разводами иконостас, на нем, во весь угол, потрескавшаяся от времени, но все еще яркая своими красками икона Божьей матери с Иисусом Христом на руках. Солцев и тогда, с первого взгляда, уловил в полулучечной простоте иконописи какую-то внутреннюю, исходившую теплым светом натуральность, живость изображения, словно завершив немудрящую, очередную, для продажи, работу, иконописец в самый последний момент остановился, окинул ее взглядом и одним-двумя мазками вдруг разом оживил ее, перенес в рисунок частицу своей души, вложил в него кусочек сердца. Ротный не очень разбирался в живописи, хотя дома, в совхозе, работая плановиком, числился в просвещенных интеллигентах, однако все это успел засечь с первого взгляда.

От созерцания иконы его отвлек, позвал расположившийся в кухне телефонист, протянул трубку телефона. Басовитый голос комбата заполнил трубку, рвался наружу.

– Солнцев, слышь, Солнцев, – говорил он открыто, без всяких условных шифров. Немцам не до подслушивания. – Ты в деревне?

– В ней. Расположился. Порядок.

– Так вот, лейтенант. Хотя ты и расположился, а будь начеку. Фрицы гужуются. Передвижение у них наблюдается. Как бы, очухавшись, не контратакнули. Дело у нас, говорят в штабах, неважное, вылезли мы далеко. Перли, перли, и чуть не в тыл к ним. Того и гляди, сами в окружение... На кой хрен перли? От соседей вон куда оторвались. Так я чего тебе... не расслабляйся. У тебя там, в деревне, что?

Солнцев доложил.

– Ну так ты их там всех предупреди. Понял?

Положив трубку, Солнцев велел позвать старшину, прошел с ним по всем домам. Познакомился с младшим лейтенантом саперов, со старшим сержантом у радистов. Объяснил обстановку, предупредил, что в случае чего командование всеми подразделениями в деревне берет на себя. Пригласил обоих командиров, своего старшину на улицу, изложил уже принятый им план возможной обороны, указал место каждого подразделения. Приказал выставить караулы – боевое охранение, потребовал от каждого подразделения связного.

К его возвращению на КП – так теперь именовался занятый им дом – в доме было тепло, в печке потрескивали дрова, над котелками с раздобытой ребятами картошкой клубился пар, шкворчали жиром поставленные на искрившиеся угли банки с тушенкой.

– Дров еще надо, чай кипятить, – крикнул крутившийся у печки дядя Егор – так звали только что появившегося здесь пожилого – с виду ему было лет пятьдесят пять, – коренастого, большерукого связного от саперов.

– Нету их нигде. До нас тут все, что от пожаров осталось, подобрали.

– А вон, – отозвался ковырявшийся в своем оружии рыжий детина Коля – автоматчик из охраны ротного. – Вон доски, – кивнул он на икону. – На две топки хватит. Мы их в деревнях сколь пожгли, пластают, как бензиновые. – Он вскочил, поднялся на лавку, потянулся к иконе.

– Отставить! – одернула его злая, режущая ухо команда старшины. Он подскочил к солдату, рванул за полу бушлата, сдернул с лавки. – Ты что, зверь? – прошипел он сквозь стиснутые зубы. – Ты зверь? У, паразит! – Замахнулся кулаком, но сдержал себя, зло, грязно заматерился, заорал на всю хату: – Ты, паразит, их вешал? Они твои? Этот дом, хата эта твоя? Зверь ты, паразит! – И опять мат, дикий, трехэтажный. – Марш за дровами, – заключил он. – Бегом!!!

Автоматчик пулей вылетел за дверь. Старшина опустил на лавку, уронил голову. Все смотрели на него с удивлением. Удивился и Солнцев. Со старшиной он прошел по дорогам войны не одну сотню километров. Бок о бок, плечом к плечу ходили в атаки, в контратаках прикладами, штыками отбивались, там мат-перемат из каждого лезет (это только в книжках писателей, в атаках не бывавших, все больше – «За Родину, за Сталина»), но чтобы такое, считай, в тылу, при ротном?!

Конечно, в принципе старшина прав, жечь иконы – варварство. Если бы, скажем, крайняя нужда, зимой где-то в окопах, где ни палочки, ни соломинки, и хлеб, замерзший до чугунного состояния, ни разрубить его, ни разрезать... Там

все можно... А тут солдата следовало одернуть, но чтобы с такой яростью?! Тем более что не такой уж он верующий, старшина-то. Молодой еще против него, Солнцева. Ему уже за тридцать, а старшина на семь лет моложе, где ему веры было набраться. Однако, между прочим, ротный не раз замечал, как в критических ситуациях старшина украдкой крестился, даже молитвы какие-то шептал. Так то в критических. Тут не один старшина, сам ротный, да что там, совсем молоденькие комсомольцы, не знавшие о боге ничего, в такие минуты молились. Откуда только что бралось. Сколько раз он видел, когда какой-нибудь из этих восемнадцати-девятнадцатилетних, заглянув в глаза смерти, под бомбежкой или орудийным, минометным обстрелом, тиская голову в землю, дрожа от страха, бормотал в испуге: «Господи, спаси! Господи! Господи!»

Он это видел, слышал и не осуждал. Кто-кто, а он-то знал, что это такое, когда ты в окопчике, а еще хуже, наверху, на ровном месте или на бугре – оборона всегда на возвышенности, – а над тобой вражеский бомбардировщик, этакая крылатая, крестатая, начиненная бомбами махина. Она висит над тобой, вываливает бомбовую начинку на твоих глазах, потому что летит она, махина, совсем низко и все видно. Какое-то время бомбы летят одна за другой уступами, лесенкой за ним, за самолетом, по инерции, потом, склонив носы, устремляются вниз, к земле и обязательно на тебя, и только на тебя, на твоё сжавшееся в комок, скорчившееся от ужаса тело, на голову. А ты беззащитный, ты вовсе голый, и негде себя укрыть. А бомбы летят, сначала вроде медленно, долго, рев, свист их нарастают и вот, вот сейчас удар, грохот, огонь, разлетающееся на куски твоё тело, кости и кровь. И тут, в этот момент, между тобой и летящими на тебя бомбами только одно, только оно, способное совершить чудо, отвести от тебя смерть, то, что называют богом. И сознаешь ты это не умом, даже не сердцем, нет, в тебе возникает что-то, может быть, от матери или заложенное самой природой и таящееся до поры, что-то вроде шестого или седьмого чувства, которое и заставляет обращаться к кому-то с этим самым: «Господи, спаси! Господи! Господи!»

«И чего это мы, люди, странные какие-то, – размышляя, пожал плечами Солнцев. – Сами бойню какую раскрутили вопреки заветам богovým и сами же к нему: «Господи, спаси, господи, помоги!» Ерунда какая».

Поужинав, солдаты отодвинули стол, лавки, натаскали соломы, укладывались спать. Для Солнцева старшина приказал постелить на печке. Но там было жарко, как в бане, он отказался, улегся с солдатами на полу, в переднем углу.

Темнело. Старшина обшарил дом, светильника не нашел. Уходя в лес – с приближением фронта тут все прятались по лесам, – хозяева прихватывали все светильники. Там, в землянках, они вот как необходимы.

– Вон лампочка, – указал кто-то из солдат на подвешенную на медной цепочке к иконе стеклянную лампаду, при этом опасливо глянув на старшину.

Тот поднялся на лавку, заглянул в лампаду.

– Заправлена. И запас горючего имеется, – поднял он с иконостаса пузырек с маслом. – Теперь со светом.

Он поправил фитилек, запалил его. Комната наполнилась хотя и тусклым, но все-таки светом, вполне достаточным, чтобы разобраться в случае тревоги.

Солдаты и старшина захрапели тут же, а ротный не спал, перебирал в памяти события дня, проверял себя – все ли было как надо – делал это каждый вечер, на всякий случай.

В принципе, позавчера, вчера, сегодня он, командир роты, делал все как надо. Две трети роты потерял, но тут уж ничего не поделаешь, на войне, как на войне. Хотя у него лично закон: людей беречь, любой ценой победы не брать. О своих людях, о возможных потерях он думает всегда, и в каждом бою, в каждой атаке, контратаке старается добиться выполнения задачи как можно меньшей ценой, с минимальными потерями. Потому и не лезет с ротой куда ни попадя, очертя голову, безрассудной храбрости не проявляет, на «уря», на кинжальный огонь пулеметов, минометов роту, хоть его убей, не поведет, обход какой ни то придумает, маневр. За то и ходит у командиров батальона, полка в «среднячках», один среди ротных до сих пор без ордена, медальки одни на кителе. Вот почему, допуская, в связи с предупреждением комбата, на сегодняшнюю ночь всяческие со стороны немцев каверзы, он знал, что готов к ним, и не особо переживал: прорвутся – отобьемся.

С удовольствием вытянув на соломе ноги, он подложил под голову руки, смотрел на замерший над лампадкой огонек, прислушивался. Где-то далеко, за лесом, привычно, размеренно бухали орудия, гулко, барабанной дробью – дуду-дуду – рокотал крупнокалиберный пулемет, напоминая о близости передовой. Изредка ночную тишину распарывал рев самолета, нашего или вражеского. «Ночь будет лунная, – соображал Максим Дмитриевич, – до утра летать будут. Не бомбанули бы... Хотя на кой им деревня выжженная, четыре избы».

Хлопнула дверь, возвратился выходивший на улицу дежурный телефонист. Желтый язычок пламени в лампадке заплясал, заметался, высвечивая, выхватывая из полутьмы уголки темно-красного, ниспадавшего с головы Богородицы плата, маленькие пухлые ручонки ребенка, его устремленные к матери глаза, все, обрамленное светлым нимбом, круглое, нежное его личико. И лицо Богородицы в свете живого огонька тоже казалось одухотворенным, лицо матери, вознесшей руку в мольбе за своего сына, а, может быть – так показалось Солнцеву, – и за него, за храпевших на полу солдат, прикрывая их от витавшей здесь смерти, которую несли с собой далекое уханье орудий, проносившиеся над крышей самолеты. Солнцев вроде как даже улавливает движение ее губ и шепот, слышит те самые слова, которые иной раз срываются и с его губ – «Господи, помоги! Господи, спаси и помилуй!» Теперь он слышит эти слова совершенно ясно, только шепчет их уже не Богородица, а его мать, лицо которой чем-то удивительно схоже с лицом Богородицы. Может, этой сияющей, всепроникающей добротой и любовью. Наверное, такое лицо у всех матерей – усталое, покрывшееся еле заметными морщинками, но полное одухотворенной надежды и мольбы. «Господи, спаси и помилуй! Господи!» Солнцев помнит, так она, мать, по ночам, упав на колени, иступленно зывала к Господу, моля о сохранении мужа, отца своего сына, раба божия Димитрия. Тогда, просыпаясь, он, маленький Максимка, захваченный материнским экстазом, тоже со слезами молил бога: «Господи, спаси и помилуй! Господи!»

Только не спасли их молитвы за красноармейца раба божия Димитрия. Пал он смертью героя в бою с врангелевцами. Может, потому скрюченная горем мать охладела к богу. Или не потому. В те годы не одна она, большинство людей откатнулись от бога, от всего на свете. Замученные голодными морями, раскулачиваниями, беломорканалами, лагерями, тюрьмами и беспросветной нуждой, они не верили ни во что, не ждали помощи, добра даже от бога.

«Фашистов прогоним, войну закончим, все по-другому будет. Врагов внешних, внутренних не будет, бороться не с кем. Тогда товарищ Сталин и о людях подумать сможет, чтобы их жизнь человеческой сделать. Он, Сталин, все может, все сделает». Так думает ротный Солнцев и верит в это, всей душой верит.

С тем он и засыпает.

Разбудил его, подбросил на соломе огонь и грохот. Удар и... темнота. Провал.

Пришел в себя от холода. Дышать было трудно – на груди, на животе и ногах давящая тяжесть. В голове оглушительный колокольный звон. Он перевернулся, попробовал приподняться. Навалившаяся на него тяжесть заколебалась, поползла вбок. Он приподнялся, с трудом разодрал слипшиеся веки. Сразу перед глазами лицо, женское лицо, оно клонилось, приближалось. Солнцев тряхнул огромной, полной звона и грохота, головой. Лицо отдалилось, ушло в рамку иконы. Он понял – Богородица. Оперся на руки, набрал сил, сбросил тяжесть. Это был стол, опрокинувшийся на него, на них. Рядом шевельнулся старшина, с другой стороны грузный сапер дядя Егор.

Перед глазамиплыли зеленые, красные, темные черточки, точки, кружки. Саднило голову. Он пощупал рукой: на лбу царапина, волосы слиплись от крови, кровь на лице, на глазах. Поднял голову и не понял. Потолка не было. Над ним подернутое светлой дымкой чистое небо. В лунном свете тускло мерцают звезды. «Как же так? – с трудом соображает он. – Что же, я на улице?»

Нет, он был не на улице. Он был на том же месте, на которое лег, только дома не было, не было стен, крыши, уцелела печка. Трубу вместе с крышей, с потолком снесло, а сама печка стояла. Вон ее беленые, теперь изодранные, оббитые бока. Она да опрокинувшийся на них толстый дубовый стол и прикрыли, сохранили их от взрыва бомбы. Значит, то, чего он опасался, все-таки случилось. Какой-то фашист сбросил бомбу на одинокую избу, видно, осталась у него, где-то не дали сбросить.

Шевельнулся очнувшийся старшина. Солнцев помог ему подняться. Старшина протер глаза, помотал головой, ощупал себя. Он не пострадал совершенно. Шишкой на голове – видно, стукнуло обломком кирпича – отделался и сапер дядя Егор, легкие царапины остались у писаря. И самое удивительное – чудом уцелел весь правый передний угол. Дом, стены, крышу разнесло, развалило, а угол целый. И в нем киот, икона, на ней ни царапины, ни задоринки, и лампада горит, не потухла.

– Вот это да, – выдохнул старшина, – уцелела. Ты подумай, все развалило, а она хоть бы што. И весь угол цел. А слышь, командир, может, это она нас прикрыла?

– Печка прикрыла, а не она, – возразил телефонист.

– Печка, – глянул на него дядя Егор. – А печку кто?.. То-то.

– Бери автоматчика, и к нашим, – приказал старшине ротный. – Может, и их бомбанул.

Выбрались из мусора оба автоматчика и второй телефонист. Связной радист был убит.

Ротный перебрался через кучи мусора в кухню. Дежурного телефониста силой взрыва – гигантская воронка, видно, от полутонной бомбы, еще дымилась рядом с домом – расплющило о кирпичи. А телефонный аппарат уцелел.

Они отнесли на огороды убитых, присыпали землей, стали разбираться, вытаскивать из завала вещмешки, чистили оружие.

Возвратился старшина. Доложил:

– У ребят все спокойно. Фашист сбросил всего одну бомбу.

Солнцев приказал ложиться досыпать.

Доспать им не пришлось. Только расчистились, улеглись, в углу уже, отгороженный от ветра тем самым столом, сразу затрещал телефон.

– Вас, вас, товарищ лейтенант, подполковник сам, – тормозил Солнцева, совал ему трубку заступивший на место убитого второй телефонист.

– Это ты, Солнцев, ты? Это же здорово, это отлично! – кричал, радуясь, командир полка.

«Чего это он?» – не разобравшись со сна, удивился Солнцев.

– Ты, значит, там, в деревне этой. Что у тебя?

Солнцев снова доложил.

– Слушай меня, ротный. У нас тут ЧП. Немцы прорвались. Не ждал? Я тоже. Так не зря они. Оказывается, мы так лихо наступали, что целую немецкую часть проворонили, в тылу своем оставили. Как мы ее обошли, хрен ее знает. За речкой она, которую мы форсировали. Сколько их там, немцев, никто не знает.

Но дерутся отчаянно. Их танкисты наши окружили, к реке притиснули, ну, они дерутся. К ним на выручку и рвутся эти, здесь прорвавшиеся фрицы. На прорыв танки пустили. Танки мы пожгли, все у линии обороны остались, а автоматчики прорвались, теперь по шоссе прямо на тебя рвутся. На тебя, ротный! Так что имей в виду. Уходить, бежать не смей. Ты должен задержать их, понял, лейтенант, задержать! Организуй оборону, и ни шагу назад. Мы с боков их зажмем. Штаб дивизии свежий батальон подбросил, мы их раздавим. Ты продержись, только не пропусти через деревню, соединиться с окруженными и дорогу им расчистить не дай. Ты меня понял? Продержись! – кричал он.

Солнцев пожал плечами, ответил не очень твердо:

– Постараюсь, товарищ подполковник. То есть продержусь.

– Ты там всех, кто есть, подбери. Назначаю тебя начальником гарнизона. Ты действуй, действуй и докладывай, звони. Я тут. Успеха тебе, ротный. Держись! – И положил трубку.

Солнцев отошел от телефона и сразу услышал выстрелы. Они доносились из-за леса. Все было понятно, немцы уже здесь, напоролись на расставленные посты.

– В ружье! – скомандовал он. Кивнул вскочившему старшине. – К ним. Я пока здесь.

Старшина убежал.

Светало. Отсюда, с возвышенности, с бугра Солнцева было видно, как быстро, без паники разбегаются по окопчикам, нарытым вдоль оврага какой-то державшей здесь оборону в первые дни войны частью, автоматчики, радисты и саперы. Неглубокий этот ровик пересекал деревню от реденького, болотистого леска слева до невидной в крутых обрывах речки справа. Автоматчики заняли окопы в центре, у шоссе, вплотную к разбитому мостику; саперы – на правом фланге, у речки; радисты – их было около десяти, расположились по левую сторону моста, растянув оборону до леска. Сюда же перегнали радиостанцию, закатали под деревья, укрыли. Таким образом, Солнцева удалось перекрыть, перерезать

хотя и жиденькой, но все-таки сплошной линией обороны всю деревню, точнее, тянувшееся в наш тыл шоссе.

Вообще-то к автоматчикам, в ровик, следовало бы идти самому, но он решил повременить, определить, что немцы предпримут. Положение у него, конечно, неважное, позиции растянуты, но иначе нельзя. Его задача не пропустить немцев через деревню. Беспокоили ротного фланги: радисты, саперы, считай, не строевики, что с них? От первой атаки сникнут. Помогать им придется. Потому и остался на КП.

Немцы не спешили. Напоровшись на боевое охранение и утратив фактор внезапности, готовились – хотя и спешили – обстоятельно: подтягиваясь, рассредоточивались.

Солнцев наблюдал за их действиями. Сейчас, прежде всего, они должны накрыть окопы хотя бы минометным огнем. Артиллерию они, конечно, не подтянули. Но немцы не стреляли. Минометов у них не было. Они прошли, не укрываясь, метров пятьдесят, залегли. Лежали не двигаясь, не стреляя.

Удивиться этому Солнцев не успел, все разрешилось. Немцы ждали подхода танков. Первый просунулся между деревьями и пошел напрямик, через развалины. «А подполковник уверен, что танки не прошли», – усмехнулся Солнцев. Он с напряжением смотрел на лес, прощупывал глазами, ждал появления второго, третьего. Но танков больше не было.

– Всего один! – радостно вскрикнул он.

Танк обошел своих пехотинцев, постоял, ожидая, чтобы они подтянулись. К нему подбежал офицер, что-то крикнул, махнув рукой высунувшемуся из люка танкисту. Танк развернулся и сразу, набирая скорость, двинулся на правый фланг обороны.

Именно этого маневра ротный не ожидал – на правом фланге ровик был поглубже, откосы покруче, – потому и отвел его саперам, в основном «старикам».

Однако «старички»-саперы не паниковали, действовали с умом: не обращая внимания на танк, спокойно целясь, били по мелькавшим в развалинах пехотинцам. И небезуспешно, фашисты падали, подбитые их пулями. По оврагу от окопа к окопу тоже спокойно, заложив руки за спину, ходил младший лейтенант, что-то говоря каждому саперу.

– Связки! Связки! – вскочил на остаток стены, замахал руками ротный. Но в нараставшем треске выстрелов, реве приближавшегося танка кто его мог услышать? Он скрипнул зубами, отвернулся: «Старшина пошлет, должен послать автоматчиков с гранатами. Они танк подорвут, не дадут прорваться в тыл, – соображал он. – Но саперов он успеет расстрелять, подавить». Он отвернулся.

Когда поднял голову, танк был метрах в пятнадцати – двадцати от ровика, от окопов. Он объезжал оставшийся от дома каменный фундамент. Объехал и вдруг окутался дымом. Надо рвом, над окопами прокатился грохот взрыва. Танк осел, завалился набок. Из откинувшегося люка прыгали танкисты. Саперы, все так же старательно целясь, расстреливали их.

– На mine подорвался! – закричал, запрыгал телефонист.

– Так они же, «старички» наши, ночью все подходы к своему участку минами прикрыли, – пояснил дядя Егор. – Младший лейтенант, как стемнело, тут и послал их. Сапера голый рукой не возьмешь.

Потеряв танк, немцы замялись, потоптались на месте, стали оттягиваться назад, за развалины.

Снова зазуммерил телефон. Начштаба полка, майор, требовал доложить обстановку. Что немцы в деревне, он уже знал.

Солнцев доложил о первой атаке, о подбитом танке.

– Так и действуй, в этом плане, – одобрил майор. – Продержись немного, мы подоспеем. Только не пропусти. Те, в окружении которые, через речку рвутся просачиваются, ты не дай им соединиться! – кричал он. – Пропустим, комдив нам головы снесет!

Немцы перегруппировались и снова пошли на сближение. Теперь, без танкового прикрытия, они вели себя осторожней. Вначале двигались короткими перебежками к мосту, на окопы автоматчиков. Не дойдя метров сто, стали смещаться влево к лесу. Жиденькая лесная полоска охватывала всю деревню. За ней трясина. Вода, кочки хорошо просматривались между редкими березками. Там, через этот лесок, хода не было. Значит, на этом фланге немцы так или иначе должны были прорываться через участок обороны радистов, а затем через возвышавшийся над позициями КП ротного. Именно это учитывал ротный, оставшись здесь с пулеметом.

Сразу за ровиком, за окопами радистов, вплоть до КП, тянулся чуть прикрытый подтаявшим снегом, дочиста выеденный скотом выгон. На него по приказу ротного и нацелились обустроившиеся в кирпичках автоматчики, писарь и посыльный Петя. Сам он с пулеметом пристроился за уцелевшим углом с иконой, крикнул саперу:

– Помогать мне будешь. Ложись рядом.

Немцы приближались. До ровика, до окопов оставалось метров сорок – пятьдесят.

Радисты, как и саперы, вооруженные одними винтовками без штыков, вели себя, не в пример «старикам», нервно, суетились, бегали по ровику, выискивали позиции, грудились вокруг старшего сержанта. Он что-то разъяснял, успокаивал, наставлял. Отражать атаки противника им, видно, еще не приходилось.

Прятавшийся за развалинами немецкий офицер высунулся, что-то прокричал. Немцы поднялись, сделали бросок. Многие падали, срезанные пулями радистов. Снова крики офицера и еще один бросок. Немцы были совсем близко.

– Беги к ним, – крикнул ротный Петьке, – передай старшему сержанту, если будет туго, пускай отходит сюда, к нам.

Петька побежал в обход, запетлял между развалинами сараев, бань и домов.

Большая группа немцев добралась до крайних слева окопчиков. Фашисты швырнули гранаты, кинулись в рукопашную. К удивлению ротного, радисты не запаниковали, не побежали, схватились с немцами.

К ровику побежал посыльный, передал старшему сержанту слова ротного. Тот обрадовался, закричал, замахал руками.

Оставшиеся в живых радисты перебежали к КП напрямик, через выгон.

– Ах, черти, – мотнул головой ротный. – Струсили, удрали. Могли еще продержаться. – Запыхавшемуся сержанту не выговорил, что уж тут.

Теперь гарнизон КП удвоился. Пулеметные, автоматные очереди скосили рванувшихся было через овраг, через выгон немцев. Их, однако, было много и им нужно было пройти через деревню. Они хорошо знали – может, наскоро, с

бьтнем, допросили кого-то из оставшихся в окопах наших раненых, – перед ними какое-то случайно оказавшееся здесь подразделение. Потому и рвались, лезли, не прекращая атак.

В бою ощущение времени утрачивается. Для командира это беда. Он должен чувствовать его течение даже в самых яростных схватках. Солнцев это знал и за три года приучил себя помнить о нем всегда, уметь и в бою считать минуты. По его подсчетам, немцы атаковали более часа. Уже дважды от ровика прибежал старшина, требовал, чтобы ротный со своим гарнизоном перешел в окопы. Солнцев не соглашался, объяснял:

– Эту точку обороны оставим – немцы могут обойти, окружить овраг с флангов, с тыла. Еще хуже, если рванутся напрямую, в лоб, по шоссе. На нас им наплевать, у них задача подоспеть на выручку застрявшей у речки части. Наша задача не пропустить их, задержать до прихода наших. Так что дуй к ребятам, сиди, наблюдай, как отбиваемся. Увидишь, что нам туго, подошли кого-нибудь помочь. И не рыпайся. Мы будем стоять. Не пропустим их. Да они и сами поймут, что по выгону этому, как стол ровному, не пройти, пока у нас пулемет, автоматы и патроны есть, пока у немцев нет артиллерии и даже минометов.

Немцы вроде действительно поняли бессмысленность своих попыток, прекратили атаки. Воспользовавшись этим, старшина прислал из своего НЗ консервов, хлеба, колбасы, две бутылки трофейной настойки.

Потерь в гарнизоне не было. Слегка ранило в левую руку дядю Егора, бинты серели на голове телефониста. Он теперь тоже был при автомате. Шальная пуля пробила телефонный аппарат насквозь. Телефонист было рванулся:

– Я сбегаю, принесу аппарат.

Солнцев отмахнулся:

– Куда побежишь. Они же все в бою, там немцы прорвались. Пока найдешь, телефон твой будет не нужен. Да и вообще, чем он поможет?

Так что теперь ротный вел бой с противником совершенно автономно.

Наскоро перекусив – немцы на время затихли, может, тоже подкреплялись, – он спустился ко рву, пробежал по окопам оставшихся в живых саперов. Их было восемь. Автоматчики потерь – за исключением трех раненых – не имели. Легкораненые были в строю.

Поговорив с ребятами, он дал кое-какие наставления, хотя они знали все и сами, не в первом бою. В них он не сомневался, знал, не подведут.

Немцы сунулись было в лесок, попытались обойти КП и выгон, но там была трясина. Потыкались, побултыхались в ледяной грязи и вернулись.

Вскоре они предприняли еще одну попытку прорваться по выгону. На окопы автоматчиков не шли, явно переоценивали их силы. Перебравшись через окопы, оставленные радистами, укрываясь за лежавшими здесь трупами, приблизились к КП на максимально близкое расстояние и залегли. От цепи отделилась группа автоматчиков. Они проползли немного и разом рванулись вперед.

Половину из них сбили пулеметные очереди ротного, меткие пули дяди Егора и остальных из гарнизона. Однако трое, четверо приблизились на бросок гранаты, швырнули их. В грохоте разрывов обрушились на КП всей силой.

Атака была отбита и на этот раз. Как, каким образом, Солнцев уже не знал, помнил, что стрелял из пулемета до покраснения надульника, стреляли дядя Егор, Петька, автоматчики и радисты. Помогли подоспевшие, посланные старшиной

автоматчики. Немцы откатились, оставляя убитых. Теперь они серыми бугорками покрывали весь выгон.

Поняв, что атака отбита, люди заговорили, загалдели, замахали руками, расслабляясь от сковывавшего их напряжения.

Унесли убитых, среди них два радиста, телефонист.

Солнцев глянул на свои трофейные, немецкие. Было одиннадцать. С начала первой атаки прошло три часа, а ему казалось, что сидят они в этих развалинах вечность.

Патроны, гранаты еще были, в мешке запасной диск к пулемету.

Он обошел свою оборону, поговорил с каждым, пошутил. Люди держались. Радисты не хотели показать слабость перед автоматчиками, те рисовались перед всеми. Как же, основная сила войны. Только сапер дядя Егор ни перед кем не рисовался. Он и здесь, на войне, делая дело, работал как всегда старательно, вкладывал в дело душу. Как понял Солнцев, про опасность, про смерть он не думал. Важно дело, а что оно, дело, сопряжено с опасностью, так уж тут ничего не скажешь, другие тоже под пулями.

Воспользовавшись передышкой, дядя Егор осматривал, ощупывал винтовку. Осколок отщепил кусок логи.

Он, будто на рану, наложил на отщеп кусок картона, притянул бинтом, поднял винтовку, прикинул к плечу, довольно хмыкнул.

Солнцев перешагнул через остаток стены – поясницу, позвоночник пронзила боль. Он даже ахнул. Понял: от бомбы, от контузии это или удара. В горячке боя не чувствовал, теперь напоминает. Надергал из своей постели соломы, сложил у печки, сел, оперся о печку спиной. Боль утихла.

Перед глазами бугрившийся трупами пустырь, оставленные радистами окопы – в них теперь немцы. Справа, за мостом, в окопах, его автоматчики.

«Что-то теперь предпримет противник? – задал он себе вопрос и усмехнулся. – Что же им делать... Снова будут лезть. Но тянут, медлят фрицы, и в этом их проигрыш. Время на нас работает – мы еще постоим, не пустим их через деревню. Еще попрыгают. Пока они тут топчутся, там, за лесом, полк, может, и вся дивизия брешь ликвидирует». Солнцев даже представил, как наши части, танки, самоходки атакуют, стискивают с флангов прорвавшуюся на узком участке, сквозь нашу оборону немецкую часть, как, несмотря на ожесточенное сопротивление, неумолимо сжимается щель прорыва. Представилось это так отчетливо, естественно, что он даже улыбнулся.

Он поднял голову. Взгляд уперся в икону, и он вспомнил, что все это время ведет бой, отражает атаки, стреляет, укрываясь за этим самым чудом уцелевшим углом с Богородицей, что угол не поддается ни взрывам гранат, ни разящим очередям немецких автоматов. Стоит среди развалин, в свисте пуль, в грохоте боя нерушимый, как заговоренный, как крепость. И икона цела. Только лампада погасла. Так ведь днем она ни к чему. Словно прочитав его мысли, к лампаде потянулся дядя Егор, подлил из пузырька масла, зажег фитиль.

– Пускай горит, – хитро подмигнул он. – И Матери божьей виднее, как мы угол ее, с ей вместе, от ворогов, живота не жалея, берегем. Может, помянет в молитвах своих перед Господом.

– Может, помянет, – хохотнул из кирпичей Петька. – Так мы уж на том свете будем.

– Почему на том? – повернулся к нему дядя Егор. – Господь рукой своей прикроет, никакая пуля, ни тебе осколок, ништо человека не возьмет. У его сила... Вон сколь сидим, одни, поди, от батальона али от полка цельного отбиваемся.

Старик загибал. Атаковала их слабо вооруженная, потрепанная при прорыве рога.

– А бонба! – продолжил дядя Егор. – Вон она чего наделала. Дом напрочь снесен а угол стоит. Кто ж, как не икона эта, Матерь божья, прикрывает? Она, заступница наша, угол свой, а с ним и нас хранит.

Петька почему-то промолчал, не возразил. Может, тоже размышлял над феноменом этим.

– Нам все равно, пускай хоть бог, хоть черт помогает, – отозвался телефонист. – Лишь бы от немцев живыми отбиться.

– Ну и дурак, – заключил дядя Егор и отвернулся, укладываясь, устраиваясь поудобней между кирпичами. – Бог, он все видит, все знает. Наше-то дело правое. Дом свой, по его учению, каждый зверь защищать должен. А мы от извергов, от детоубийцев защищаемся. Нет, ты не говори, богоугодно дело наше. Бог с нами. Он защитит, он поможет.

«Вот оно как, – подумал Солнцев. – Вера-то, она живет в нас. Мы про нее в хлопотах вроде забыли, а она живет, напоминает о себе и при случае дает о себе знать».

Лучи по-осеннему неяркого и потому нежного теплого солнца освещали, ласкали лик Богоматери, раскинувшегося на ее руках младенца, золотили нимбы. Солнцеву опять, может быть, от слов дяди Егора, показалось, почудилось, что она и впрямь будто живая. В груди потеплело, отошли, отодвинулись все-таки мучавшие его предчувствия в глубине души неизбежной трагической развязки. Что немцы откажутся от поставленной цели, такого он не допускал, такого быть не могло. Наши так скоро тоже не подойдут. Судя по доносившимся отголоскам боя, они еще дерутся на флангах прорыва, еще не закрыли щель. Так что на помощь надеяться нечего. А у немцев тоже приказ. Они должны его выполнить. Тем более что на пути у них какая-то горстка солдат противника. Сейчас они сконцентрируются и ударят.

Он вздохнул: «Мало нас, меньше трех десятков, не удержать оборону». Закрыл глаза, представил, что будет, этот самый конец, содрогнулся, мотнул головой, отгоняя страшное. «Нет, нет, он не может допустить, что-то должен сделать, предпринять... А что?» Повернулся к ребятам, сказал:

– Мы и от божьей помощи не откажемся, лишь бы задачу выполнить, немцев через деревню не пропустить, до подхода наших продержаться.

КП немцы больше не атаковали. Они прорвались через линию обороны на том же правом фланге, у реки. После их атаки там, в окопах, не осталось ни одного живого сапера. Теперь им осталось окружить и уничтожить автоматчиков в окопах по центру деревни.

Солнцев – он был уже там, в окопах, среди автоматчиков, – оценив обстановку, приказал оставить окопы, перейти на бугор. Теперь они заняли вокруг КП круговую оборону, продолжая перекрывать своим огнем проход через деревню, не давая проскользнуть ни одному немцу.

Но положение ухудшалось. У немцев появились минометы. Видно, сумели подтянуть. Первые мины рвались с перелетом. Потом минометчики пристрелялись, стали бить точно. Над КП, над всей круговой обороной плыли клубы дыма и пыли.

Немцы снова бросились в атаку. И опять оплошали, бежали прямо от врага снизу, на виду у автоматчиков и остальных, кто был в обороне. Вместе со стрелявшим из пулемета ротным они били в упор, косили фашистов. А те, несмотря на потери, продолжали рваться вперед, стремясь уничтожить заслон.

Они все-таки прорвали кольцо обороны. Кинулись врукопашную. На Солнцева бросился вынырнувший из-за угла густо-черный – обычно они были светлые или рыжие – верзила фельдфебель с нашивками ранений и орденской планкой. Он строчил из автомата от живота. Ротный отпрыгнул за печку, выстрелил из пистолета. Фельдфебель рухнул.

Немцы уже вроде захватили КП, тесня автоматчиков. И в это время раздались свистки, донеслись крики офицеров. Немцы скрылись за оврагом, за развалинами. Автоматчики даже не успели послать им вслед ни одной очереди.

– Вот те на, – поднимаясь из завала, удивленно проговорил старшина. – Это чего же они?

– Черт их знает, – пожал плечами Солнцев.

– И этих оставили, – кивнул на лежавших в кирпичах убитых Петька. – Мы их, что ли, хоронить должны?

– А чего же, – отирая закопченное, измазанное не то мелом, не то известкой лицо, сказал дядя Егор. – Хоронить мы их завсегда хуть всех, с Гитлером ихним, с нашим удовольствием.

Были и свои убитые. Солнцев пересчитал. В живых осталось двенадцать. Пятерых раненых отнесли в соседнюю развалину. Фельдшера, санитаров не было уже давно. Перевязали сами. У одного даже осколок из плеча выдернули.

На всякий случай снова заняли оборону.

– А все-таки почему смылись они? – недоумевал Петька. Левая рука у него висела на перевязи. – Еще бы немного, и нам конец...

– Ну уж и врешь, – восстал дядя Егор.

Солнцев только тут заметил, что сапер ранен. Пуля или осколок, видно, по касательной полоснули по боку. Бушлат, брюки были в крови. Он кривился, ежился, но держался. – Мы вон с Миколаем, – кивнул он на рыжего, как пламень, веснушчатого автоматчика, – так укрепились, хрицы до вечера не выковыряли бы.

Сам Солнцев был невредим. Его пули, осколки щадили, хотя куртка, брюки были ими исполосованы.

– Могут вернуться, – высказал предположение кто-то из автоматчиков.

– Не вернуться, – отверг ротный. – Наши на подходе, потому и эти убежали.

Они прислушались. Теперь пулеметы, пушки гремели где-то совсем близко.

Немцы появились вскоре, только теперь с противоположной стороны. «Те, из-за речки, – сообразил Солнцев. – Все-таки прорвались. Теперь нам стоять насмерть, к линии фронта не пропустить. Прорвутся, нашим в тыл могут ударить».

На бежавших по шоссе – они действительно не шли, бежали, – немцев было страшно смотреть, такие они были ободранные, полураздетые, мокрые, окровавленные. Прорыв из окружения достался нелегко. «Речку преодолевали вплавь, по тонкому льду», – соображал Солнцев.

Они бы пронеслись через село, не тронув автоматчиков, обойдя их, если бы те сидели смирно. Но ротный приказал открыть огонь. Автоматчики и все остальные были к этому готовы. Затарахтел пулемет, прострочили очередями автоматы, забухали винтовки. Немцев будто сдуло с дороги. Они залегли. Раздались злые, как

лай, команды, крики офицеров. На КП, на развалины обрушился ливень пуль. Они щелкали о кирпичи, бились в печку, откалывали, обдирали с нее известку. Небольшая группа немцев обегала дом, зашла с тыла, со стороны выгона. Солнцев, приказав старшине перекрыть шоссе, захватил Петьку и дядю Егора – телефонист, писарь и оба бывших при нем автоматчика погибли, – перекинулся с ними от печки, из-за которой стреляли, к углу, под икону, повели огонь отсюда. Дядя Егор стрелял, прижимая приклад винтовки плечом и щекой, ухитряясь левой подать ротному набитый патронами диск.

Стреляя, Солнцев не забывал наблюдать за действиями автоматчиков, прикрывавших шоссе, бросал короткие команды. Старшина тоже стрелял. Он перебегал от одного автоматчика к другому, подбадривал, подбрасывал ребятам диски, поддерживал огнем своего автомата.

Озверевшие от ярости и страха, немцы – с тыла на них наседали, висели на их плечах советские части, из клещей которых они только выбрались – рвались вперед, молча ползли, кидались бросками, палили из автоматов. Солнцев давил и давил на крючок, подсекал мелькавшие в рамке прицела серые фигуры. Дрожь бившегося в руках пулемета отдавалась в плече, во всем теле, руки одеревенели, вроде их свело судорогой, но он стрелял и стрелял до тех пор, пока пулемет, выплюнув последнюю очередь, не замолк. Ротный вышелкнул, отбросил пустой диск, обернулся.

Дядя Егор лежал, неловко подвернув руку, уткнувшись лицом в кирпичи. Патроны кончились.

А немцы рядом. Солнцев в уже наступивших сумерках видел их заросшие щетиной, грязные физиономии, оскаленные в ярости зубы, сверкавшие злобой глаза и, главное, плясавшие на кончиках стволов автоматов желтые огоньки выстрелов. Он понял – наступил тот самый, возможный в бою момент, к которому должен быть готов каждый солдат, тем более командир. Придерживаясь за ножку опрокинутого стола – стоять было трудно, пульей или осколком повредило правую ногу, в сапоге была кровь, – сдернул с пояса лимонку, зажал в правой руке, левой выдернул из-за пазухи пистолет. Знал точно, в нем три патрона. Все так же, прячась за углом с иконой, засек глазами трех фашистов, подбиравшихся слева, размахнулся, швырнул гранату. Проследил за ее полетом до взрыва, до истошного крика кого-то из намеченных им троих. Постоял, собравшись в комок, сжал зубы, зажмурился, сунул пистолет к виску. И сразу огонь, грохот.

Он рухнул, полетел куда-то в огненное, черное, ревущее.

Очнулся опять, как прошлым утром, медленно, с трудом приходя в себя. Перед глазами те же пляшущие разноцветные круги, в голове звон и подступающая к горлу тошнота. Полежал с закрытыми глазами, то забываясь, то приходя в себя. Шум, звон в голове вроде как утихали, бледнели, растворялись плывшие, плясавшие перед глазами круги. Он уже различал низко навалившееся, тяжелое, в серых тучах небо, с трудом пробивавшуюся в просветах луну. Появились мысли: «Я же застрелился. В голову стрелял. Да, стрелял, я это знаю, ясно слышал, видел, ощущал. Почему живой? Ну да, живой! Голова цела». Он хорошо ощущает наполнявшую ее боль и шум. И все-таки ему не верилось. Он попробовал поднять руку, чтобы пощупать голову. Ему это удалось. Голова была цела. Но острая боль ударила в затылок, в правое плечо. Он забылся, но быстро пришел

в себя, собрался с силой, рванулся налево, преодолевая боль, приподнялся, стал на колени. Взгляд уперся в лежавший на мусоре пистолет. Протянул левую руку, поднял его, осмотрел, усмехнулся: «Стрелялся! Пистолет с предохранителя не снял».

Снова опустился на кирпичи, прикрыл глаза, полежал. Кругом было тихо. Не слышалось даже обычных отдаленных выстрелов. «Прошли немцы, пропустил я их, – с горечью подумал он. – А может, не прошли, наши подоспели? Конечно подоспели. За леском и встретили фрицев. Позиции там удобные», – успокоил он себя.

Полежал, набираясь сил. Открыл глаза и только тут заметил по-прежнему склоненное над ним лицо Богородицы, освещенное мерцающим огоньком лампы. В грохоте взрывов, в свисте пуль, осколков, в ярости бушевавших здесь рукопашных желтый язык пламени продолжал мирно мерцать, выхватывая из полумрака ночи все так же белешую ободранными боками, полуразваленную печь, груды изломанных кирпичей и присыпанные, прихороненные штукатуркой, известковой пылью тела убитых, наших и фашистов. Богородица смотрела на это со своего возвышения, и ротный читал, ловил в ее взгляде печальный укор и сожаление, как бы говорившие: «Люди! Что же вы делаете? Опомнитесь!»

Подул ветер, качнул лампаду, желтоватые блики зашевелились, задвигались по иконе, по лицу Богородицы. Оно изменилось, просветлело, подобрело. И взгляд теперь уже все тот же, теплый, добрый, опять ласкал раскинувшегося на ее коленях младенца. Воздетая прозрачная рука ее опять дрогнула, шевельнулась, словно прикрывая сына и всех немногих уцелевших, лежавших в еще дымившихся после взрывов, не остывших после боя кирпичях. Солнцеву даже показалось, что Богородица вроде еще ниже склонилась, приблизила лицо почти вплотную к нему, коснулась его рукой и что-то сказала. Что, он не расслышал, не успел. Потому что очнулся. Кто-то действительно трогал его рукой, шептал:

– Кепку уронили. Кепку. – Рядом стояла женщина, протягивала ему кепку.

Вокруг все тот же церковный полумрак, а в нем будто звезды на небе, там, над развалинами, мерцающие огоньки свечей. И как там же, в развалинах на КП, над ним лицо Богородицы, только теперь оно спокойное, умиротворенное, излучающее тепло добра и человеколюбия.

Солнцев шагнул к киоту, прижег обе свечи и вставил в подсвечник. Губы его шептали:

– За старшину Степана Борцова, за сапера, за посыльного Петра, за автоматчика Николая, за всех, кто выжил в этих развалинах, за всех сохранившихся, вернувшихся: за всех живых!

